

в любом случае станет достоянием республики. Дом и все прилегающие постройки переходят к сельсовету, где с разрешения товарищей из уездного исполкома решено устроить кооперацию.

Вот так...

Мой прадед построил этот дом, а Митяй решил, что будет с усадьбой...

— Да пошел ты, — явной радости по ходу его пламенной революционной речи я не выразил, отчего обстановка накалилась до предела.

Митяй обвел взглядом свое разношерстное окружение и, получив молчаливое согласие на эксцесс, потянулся к кобуре.

Пришлось вынести из кабинета отца морскую мину и молоток. Это был муляж мины, но они об этом не знали.

Я занес молоток.

— Попрошу покинуть мой дом, — и стал считать. — Раз, два, три, — на счет «три» я со всей дури жажнул по железке, заполнив комнату протяжным гулом.

Через секунду дом был пуст. Только из парка продолжала доноситься отборная брань и обещание открыть кингстоны и отправить меня на дно Оки.

Знали твари, что я морской офицер, и терминов нахватались специально по этому случаю. Благо было где. В десяти верстах от Муромского проходила железная дорога, по которой всю осень шли эшелоны с солдатами и матросами, возвращавшимися домой с развалившегося фронта и исчезнувших, словно по волшебству, флотов. Вот и ходил туда Митяй ума набираться. И набрался...

По этой же железке приехал и я в начале марта, чудом выскочив из бушующего революционными страстями Петрограда. Курок был уже спущен, и по земле потекли реки крови, затягивая Россию в пенистый водоворот красного террора.

Спросите, зачем приехал? Отвечу. Тянуло. Надо было попрощаться с могилами родителей, походить напоследок по дому и, если получится, продать усадьбу: хоть за полцены, хоть за треть. Хотя сама идея с продажей была заведомо тупиковой. Кому они сейчас нужны, эти дворянские гнезда? Продавать надо было до войны, а сейчас их сотни, брошенных по всей России. Стоят, словно призраки, в окружении заросших садов, взирая на мир пустыми глазами выбитых окон и дверей.

Ладони вспотели, и я провел рукой по мокрому отливу, собирая остатки влаги. Протер лицо и выглянул в окно.

Гроза ушла на восток, очищая небо. Ветер и ливень сбили весь цвет с акаций, росших возле самого окна, засыпав дорожки скомканными грязно-сиреневыми лепестками. Они плавали в лужах, источая дурманящий аромат, перемешанный с озоном и свежескошенной травой. С листвы еще капало, но это уже больше походило на слезы — слезы прощания с отчим домом.

День, два — сколько я здесь протяну, среди вражды и непонимания? Я чужой! Чужой в своем доме, на своей Родине.

Родина! Где ты?

Если смотреть из окна — там ее уже нет... Там только Митя Мудило и его комсостав. Но стоит обернуться, заглянуть в полутемные комнаты, пройти по залам, разглядывая портреты и фотографии, тронуть клавиш, постучать по щитам и саблям, которыми увешаны стены, сдернуть плед и, закутавшись в него, завалиться на старый скрипучий диван — и Родина окутает тебя, принося из глубин памяти воспоминания о детстве.

Она подойдет к тебе и спросит: «Эй, Алеха, а помнишь мальчишку в бескозырке, который катал на лодке смешливую соседскую девчонку? Она потом станет твоей женой».

— Помню, — скажешь ты и улыбнешься.

— А теплые материнские руки, глядящие твои волосы, когда ты болел ангиной, и нежный, всегда любящий тебя взгляд?

— Помню!

— Помнишь попыхивающего трубкой отца, сидящего в плетеном кресле и читающего свою любимую «Ниву»?

— Помню! Я все помню. Все до мелочей...

— Закрой глаза и не открывай, в противном случае ты вернешься в мир, в котором нет места сентиментальности. И вместо лиц любимых тебе людей ты увидишь прислоненный к стене винчестер системы «Смит и Вессон», две гранаты и «наган» на подоконнике.

Я помотал головой, отгоняя навалившуюся дремоту, но глаза не открыл.

Долой грезы и наваждения. Я живу — и это хорошо. Катя и Димка уже в Хельсинки. Там тоже бардак, но не такой, как здесь. Последнее письмо от жены я получил в конце апреля. Она писала, что в Выборге прошла волна расстрелов, но после подавления путча красных все затихло, и жизнь вроде стабилизировалась... Спасибо Маннергейму. Он, конечно, сука приличная — генерал царской армии, предавший Россию, которой присягал... Но, с другой стороны, его можно понять: национализм — он как проказа: с одной стороны, греет душу, а с другой — разрушает.

Катя и Димка, милые мои. Увидимся ли когда-нибудь? Боже, как же я по вас скучаю!

* * *

К жестокой реальности меня вернул скрип калитки, ведущей в парк. Я передернул затвор и только после этого открыл глаза. Сработала привычка, выработанная годами: заснуть и проснуться по первому подозрительному шороху или звуку. Дурная привычка, — «не спать, когда спишь»: скрипнул такелаж, громыхнул где-то клюз-сак, вытрави-

ли лаг или звякнула рында — а ты уже на ногах и хочешь знать, что происходит на твоём корабле.

Через парк шла Дарья, шлепая по мокрой листве обрезанными по щиколотку кирзовыми сапогами. Дарья когда-то служила у родителей в горничных: женщина добрая и честная, но чересчур уж разговорчивая.

Она-то и принесла известие, что в деревне сгорел дом Кабана, а его самого шлепнул Митяй за то, что тот зерно на продразверстку не хотел отдавать. А сын Кабана — Антоха Кабан — стеганул из дробовика по Митьке да промахнулся, только руку покалечил.

— Ну и Антоху застрелили, а дом подпалили. Вот такие-то дела, — вздохнула Дарья и, прихватив пустой чайник, пошла в кухню, причитая на ходу: — Что творится, что творится, совсем стыд потеряли.

Но я не слышал ее. Хотелось пойти в деревню и поклониться Кабану. Я даже не знал его фамилии и как зовут. Кабан да Кабан, по-уличному. Помню, отец всегда хвалил его, когда мы мимо их дома проезжали.

— Работящий мужик, — говорил он, показывая кнутовищем в сторону его колосющихся наделов, — такие не только наш уезд, всю Русь прокормят.

Дарья принесла соломы и щепок, скомкала кусок «Уездных ведомостей» и запихала все это в печурку. Лязгнула задвижкой и присела у печи, подтыкая горящую спичку под промасленную бумагу.

— Я вам там наливочки принесла, Алексей Константинович, — крикнула она. — День рождения все-таки.

— Спасибо!

О, бог ты мой! Я совсем забыл. У меня же сегодня день рождения. Дата не круглая, но серьезная, особенно на фоне грядущих потрясений.

Потянуло дымком — и дом словно ожил. Дарья забежала, засуетилась, громыхая кастрюлями и чугунками.

Через час пришел Кузьмич, бывший отцов кучер. Выложил на стол кусок сала и две головки лука. Долго извинялся, что явился с пустыми руками, и угомонился только после того, как Дарья выставила на стол наливку. Улыбнулся и, выдернув затычку, разлил красноватую жидкость, пахнущую плохим спиртом, по стопкам.

— Ну, Алеха, за тебя! — буркнул дед и лихо опрокинул содержимое в рот. Крякнул и потянулся за бутылкой, чтобы налить по второй.

Так и встретили мое сорокавосемилетие. Бутылка наливки, пяток картошек, лук и шматок сала. Хлеба не было. Посидели, вспоминая прошлые годы, повздыхали и запели. Запели, точнее, Дарья с Кузьмичом, а я ушел в кабинет.

Пора было принять решение: что делать дальше? И я принял.

Гранаты и «наган» отнес в кабинет и положил на стол. Скользнул взглядом по стенам — и замер... На меня смотрели три счастливых лица: мое собственное, Катино и Димкино. Это мы в Ялте в девятьсот десятом. Димке только что исполнилось пять лет, и мы повезли его на море.

Сняв фотографию со стены и аккуратно выставив стекло, я вынул ее из рамки. Нечего ей тут висеть, все равно сожгут или выбросят. И пошел вдоль стен, снимая фотографии родителей и друзей. Солидный контр-адмирал в черной шинели и фуражке на фоне Адмиралтейства — это мой отец, Муромцев Константин Петрович. Мама с Димкой на руках, ему тут годика полтора. А это мичман Берг. А здесь мы с Истоминым во Владике. Только что прибыли из Сеула — и сразу в фотоателье: запечатлеть новые Георгиевские кресты за операцию по подрыву «Варяга». Было и такое...

Где они сейчас, мои друзья? Последний раз с Истоминым мы виделись в начале войны в Севастополе. А Берга я встретил в Петрограде прошлой осенью с разбитым в кровь лицом. Вступился он за гимназистку и получил прикладом

по морде, еле ноги унес. Общались мы с ним минут десять, покурили и разошлись дворами, прячась в тени домов и украдкой обходя матерящиеся патрули.

* * *

Собрал все самое дорогое для меня, сложил в стопку и перевязал веревкой. На диване уже стоял вещмешок, куда я и сунул фотографии, гранаты и «наган».

Порылся в ящиках, разыскивая дневники отца. Дневников я не нашел, зато мне попался конверт, в котором лежали сложенные пополам листы, исписанные мелким почерком, — копия докладной записки на имя морского министра о недоделках крейсера «Варяг». Отец был членом комиссии и отказался ставить свою подпись под протоколом испытаний. Крейсер все же приняли, а отца турнули с флота. Силы были явно не равны: купленная верхушка министерства во главе с дядей императора против горстки адмиралов, готовых умереть за флот и Россию. Умереть им не дали, а банально отправили в отставку, одним росчерком пера закрыв тему разногласий по поводу качества нашего флота.

Перебирая ссохшиеся от времени листы, я думал о превратностях судьбы: отец принимал крейсер, а я пустил его на дно. *C'est la vie*. «Варяг» для меня был больше чем крейсер. Для меня это была конечная точка, поставившая жирный крест на замашках карьериста и закоренелого холостяка, так называемая точка невозврата, после которой Петербург с его блеском и напыщенностью ушел на задний план, уступив место провинциальному Порт-Артуру. В сентябре девятьсот третьего с императорской яхты «Штандарт», причалившей возле баков Петропавловской крепости, на берег сошел капитан второго ранга Алексей Константинович Муромцев. А ровно через три месяца на «Варяг» поднялся матрос второй статьи Алексей Муром-

цев, разжалованный за драку и поведение, позорящее честь и достоинство офицера. С другой стороны, «Варяг» подарил мне Катю и стал моим крестным отцом, перемолов амбиции и снобизм и навсегда изменив мое отношение к жизни.

Я не знал, что делать с отцовскими бумагами, и сунул их в вещмешок — так, на всякий случай. Вынул из книжного шкафа Атлас Российской империи и вырвал из него карту Области войска Донского. Где-то на Дону Алексеев собирал добровольцев. Туда и лежал мой путь. Я аккуратно сложил листы и сунул их в нагрудный карман.

Постоял, осматриваясь и раздумывая, что бы еще забрать на память о доме, который я никогда уже не увижу. Забрать хотелось все. Все было дорого и мило: от кованых бронзовых подсвечников, стоящих на столе, до тяжелых напольных часов голландской фирмы «Томсон и сыновья». Все не унести. Не тот случай. Вздохнул, перекрестился и, прихватив вещмешок, вышел из кабинета.

* * *

Винчестер я подарил Кузьмичу, чем вызвал у старика несказанную радость. Фарфоровый сервиз, выпущенный к годовщине битвы «Варяга» и «Корейца», отдал Дарье. Это была даже не память, это была целая жизнь, прожитая за один день. Жалко его было оставлять, но тащить с собой полсотни тарелок и чашек было просто бессмысленно.

Прощались недолго. Без слез, с одними только вздохами.

— Катюше и Димке привет от нас передай, — шептала Дарья, увязывая узелок с остатками праздничного обеда. — Ох, Господи, да что же это за жизнь такая наступила...

— Не скули, — хлюпал Кузьмич носом. — Прорвемся. — Он потоптался, почесывая затылок, и шагнул ко мне. — Снимай!

— Что? — не понял я.